

Игорь П. Смирнов (Констанц)

КАПИТАЛ, ИЛИ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЯХ

В отличие от архаического человека, историческому приходится заботиться о том, что он будет завтра продуцировать больше, чем сегодня (и, таким образом, планировать свое хозяйствование),¹ при условии, что он останется в грядущем тем же, кем он является в современности, что он не утратит самоощущенности. Преодолеть противоречие между производственной экспансией и воспроизводством (= «steady-state system») можно лишь за счет такой растущей эффективности действия, которая сопровождается урезыванием энергетических затрат, пошедших на него. Хотя на выходе этого процесса и образуется избыток, по сравнению с предшествующим актом хозяйствования, зато усилия, расходуемые на входе нового действия, меньше тех, которые были приложены ранее, так что совершаемое сейчас эквивалентно – в порядке компенсации, в сумме – предпринятому в прошлом. Снижая уровень хозяйственных издержек и выигрывая в результативности, мы оказываемся способными воспроизводить расширенное производство, быть идентичными себе при самоизменении. Экономична линейность, не отменявшая цикличность. Рационально-экономичное действие наследует магическим чудесам, творимым мифо-ритуальными коллективами. Максимализм архаического человека, верного принципу «всё или ничего»: сверхбережливому (когда он питается как каннибал самим собой) либо легкомысленно-щедрому (когда он кормит даже умерших на

¹ Ср. противопоставление действий по «правилам» и действий по «плану»: Murphey, M. G.: *Philosophical Foundations of Historical Knowledge*, New York 1994, 198 ff. Планирование, считает Дёрнер (Dörner, D.: *Die Logik des Mißlingens. Strategisches Denken in komplexen Situationen*, Reinbek bei Hamburg 1989, 135 ff), есть важнейший способ господствовать над «вещами» в сложных, состоящих из взаимодействующих подсистем, системах, которые «генерализуются» (упрощаются) посредством гипотез, предсказывающих их развитие. Мнение Дёрнера не выдерживает критики: планирование не снимает сложность, но усиливает ее, уже хотя бы потому, что мы не знаем, подтвердится ли наша гипотеза в будущем или нет.

торжествах, устраиваемых в их честь) вытесняется по ходу социоистории стратегией оптимальных действий, уменьшающей их объем и интенсифицирующей их содержание (их продуктивность). Предел экономии, достигаемый (по эксплананде, разумеется) хозяйствующим в историческом времени (т.е. его хозяином), – устранение индивидом себя из производства, которое в этом случае осуществляется благодаря наемному и рабскому труду. Историческое общество в целом – в лице подчиняющего его себе государственного аппарата – стремится к той же паразитарной крайности, что и отдельный владелец капитала (согласно классическому определению, производящей собственности). Облагая промышленность и землепользование налогами, властные учреждения эксплуатируют эксплуататоров. Бюрократия представляет собой экономичную власть, не столько обеспечиваемую ее внутренней силой, сколько питающуюся за счет национального продукта. Чиновничество, если угодно, – власть экономии (сбережение на отправлении власти). Ранние государства сами выступают в качестве собственников капитала, распоряжаясь рабами и трудовыми армиями. Тоталитарные эксперименты XX в., ставившие себе задачей заново начать историю, возродили государственный капитализм и принудительный труд (военнопленных, узников концлагерей, лиц, подавляемых по кровно-наследственному признаку: дворян, евреев).² Источник капиталобразования не разделение труда, вытекающее, как постулировал Адам Смит (*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation*, 1776), из двойной природы человека – эгоиста, который не обходится в удовлетворении своих интересов без поддержки со стороны, но насилие – инструментализация коллективного тела, кража соматика у трудящихся, если так допустимо переформулировать бывшего близким к истине Прудона (*Qu'est-ce que la propriété?*, 1840).

² Любопытно, что отпрыски непотомственных дворян не преследовались советской властью, например, они не подлежали высылке из Ленинграда после убийства Кирова (см.: Лихачев, Д.С.: *Воспоминания*, Санкт-Петербург 1995, 291-292). Тоталитарные эксперименты, вообще говоря, двусмысленны: как новое начало истории они не могут мириться с династической и расовой наследственностью, но как новое начало истории они также гипостазируют преемство по крови, благоволя к кухаркиным детям и развертывая арийский миф.

Еще одно популярное соображение: взяточничество бюрократов и их вовлеченность в дележ прибылей от промышленности – реликт первогосударственности (особенно ошутимый в нынешней России, пока вовсе не избавившейся от тоталитарной установки на возвращение к праэтизму).

Та экономия, которую могут позволить себе капиталист и бюрократ, означает, что они участвуют в общественной деятельности не столько физически, сколько символически. Главный выпускаемый ими продукт – их личная подпись (на чеках, договорах, справках, удостоверениях, сертификатах и т.п.). Пьер Бурдьё (*Raisons pratiques*) имел все права вести речь о «символическом капитале», которым ворочает государство. Не нужно, однако, думать, что накопление такого капитала составляет предпосылку для институционализации социальной жизни. Лицо, попавшее на лестницу государственных чинов, поглощено символической активностью как адекватное своей позиции, как отвечающее тем обстоятельствам, что экономия, довлеющая историческим действиям, обратила его в по преимуществу символический элемент социального устройства. Чиновник нарацивает свой (резолуционно-бумажный) капитал по требованию истории, которая жаждет расширения любого производства. От интеллектуального взора Бурдьё недопустимым образом ускользнуло тайное родство бюрократов и плутократов (их капиталы для него лишь различны).³ Это пересечение фундаментально для подвижного социоисторического порядка. Владелец производящей собственности, становясь символической фигурой, посредничает между изготовлением товаров и раздачей сигнатур государственной власти, являет собой относительно этих полюсов *tertium comparationis*. Плутократия медиократична (как об этом писал Дмитрий Мережковский в «Грядущем камне», 1906). Есть капиталист, есть и возможность обмена, связывающего символические и физически продуктивные действия, есть и хозяйственная опора у истории (что прозорливо осознал Смит).

С социоисторической точки зрения без капиталиста не было бы не только символического вознаграждения за расходование трудящимися их телесной энергии (заработной платы); не только веры в слово того, кто берет займы орудия, товары и деньги (кредита со всеми его учреждениями); не только обогащения производства идеями, рационализирующими его (инженерии), и многого подобного, но и – куда более общезначимо – обмена между универсумом текстовых (в том числе литературных) и универсумом физических действий. Именно в результате этого обмена, охватывающего человеческую деятельность всесторонне, *res gestae* откладываются, текстуализуясь, в архиве, становятся тем когнитивным фоном, на который прое-

³ Ср. непримиримость противопоставления, в котором Вебер соотнес предпринимателя и государственного служащего: «...der autonome Unternehmer [ist] ein Prämienlohnarbeiter für Organisationszwecke [...], der Beamte aber ein Zeitlohnarbeiter (und zwar, im Gegensatz zum Arbeiter, ein solcher ohne wirksame Auslese nach seiner Leistung)...» (Weber, W.: Deutschlands künftige Staatsform (1918), in: *Gesammelte politische Schriften*, Tübingen 1988, 460 [подчеркнуто Вебером, - И.С.]).

цируется и от которого отсчитывается экономия инициатив, предпринимаемых в текущем моменте. С другой стороны, текстоподобие депрагматизирует (я прошу прощения за слово-монстр) труд так же, как и остальные формы практики, что в конечном счете и формирует условие для расширения каждой из них по ходу исторического процесса. По той причине, что оба мира (хозяйствования и текстопорождения) соединены реципрокным отношением, не приходится говорить о том, что один из них детерминирует другой, служит его «базисом». Они заняты взаимокompенсацией, вытекающей из того, что оба недостаточны относительно друг друга (только если существует Другой, имеется и нехватка – себя).

Фридман выдвинул следующую формулу взаимовыгодного обмена:

For exchange to take place, the values of the participants must differ. If Mr. A has X and Mr. B has Y and both agree that X is to be preferred to Y, no exchange of X for Y can take place. Exchange of X for Y only take place if Mr. A values Y more than X and Mr. B values X more than Y. In that case, both A and B benefit from the exchange of X for Y [...] The same analysis applies immediately to free speech and free discussion.⁴

Не стоит поддаваться на уловку сталинского стиля, используемого либералом Фридманом, старавшимся убедить читателей в логичности сказанного за счет навязчивых повторов. Перед нами абсурдное по содержанию высказывание нобелевского лауреата. Уже Маркс справедливо констатировал, что в глобальном масштабе не бывает обоюдного профита от обмена товарами. В духе сталинско-фридмановского неэкономичного речеведения можно было бы указать на то, что если «там» товар стоит больше, чем «здесь», то «здесь» он менее ценен, чем «там», и наоборот. Если это так, то тот, кто с выгодой продает «там», всегда покупает с убытком «здесь». Фридман не философичен. То, что трансцендентно физическому продукту, «free discussion», рисовалось далекому, надо полагать, от культуры (среди прочего и мышления) глашатаю Чикагской школы как вполне параллельное продающемуся на рынке, где торгуют материальными ценностями. Рынок сам по себе творит взаимообогащение покупателей и продавцов, уверяет нас хором с Фридманом Фридрих А. фон Хайек (Hayek, F.A.: *Law, Legislation and Liberty. A New Statement of the Liberal Principles of Justice and Political Economy*, Vol. 2, Chicago, University of Chicago Press 1976, 107-132). Неужто и впрямь рынок не обходится без борьбы, в которой ведь должен быть победитель? Либеральное общество (минимализующее конфликты) – самое удобное для жизни, либеральное мышление – самое неадекватное из

⁴ Friedman, M.: Value Judgments in Economics (1967), in: *The Essence of Friedman*, ed. by K.R. Leube, Stanford, California 1987, 6.

всех, которые находятся в распоряжении человека никогда не довольствующегося уютом.

Если Фридман отнял качество у символов, то Кейнес (ученый с европейским культурным багажом) гипертрофировал их долю в организации оптимального, сбалансированного общества.⁵ Капитал есть то, чего всегда недостает.⁶ Для здравого рассудка он, однако, более, чем богатство, – избыток собственности в ее автокреативности. (Кейнес перекликается в своей посылке с еще одним современником сюрреализма, Жаком Лаканом, исходившем в возведенной им психоантропологии из отсутствия у женщин пениса, что, якобы, определяет желание мужчины восполнить этот дефицит. Спрашивается: есть ли вожделение и у женщин?). Чем выше, – считал Кейнес, – покупательная способность населения (чем охотнее оно тратит деньги – символические ценности), тем менее уязвим капитал, заинтересованный в продаже порождаемых им товаров, и тем ниже безработица.

Что до последней, то она, подчеркну я, воссоздает в зеркально отраженном виде – едва ли не карнавально – экономичное поведение капиталистов, делегирующих фабричным и аграрным работникам расходование физической энергии. Пока не иссяк исторический смысл плуто(медиа)кратии, у неполной занятости народонаселения в промышленности есть только одна альтернатива – нехватка рабочих рук. Другими словами: избыток символического (тел, отчужденных от физической продуктивности) может быть компенсирован – в обмене – лишь дефицитом соматического.⁷

⁵ Еще сильнее, чем Кейнес, раздувает роль символического в экономике Жан Бодрийяр (в «Символическом обмене и смерти», 1976). Якобы игнорирование человеком смерти переводит любой творимый им и продаваемый-покупаемый продукт в разряд симулякров, навязывающих потребителю иллюзорные нужды, иными словами, не соответствующих бытию-к-смерти. Естественно, что Бодрийяр, вразрез с Кейнесом, не усматривает в операциях на символическом целительного средства, способствующего выведению народного хозяйства из критических ситуаций.

⁶ Цит. по: Keynes, J.M.: *Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes* (= *The General Theory of Employment, Interest and Money*, 1935), Berlin 1936, 178 ff.

⁷ В концовках эпох, на сломах исторических периодов социокультурная динамика временами испытывает и идейные затруднения, впадает в ментальный пауперизм, восполняемый проектами, изображающими принесение в *corps social* некоего искусственного комплементарного элемента (будь то позднеромантические живые автоматы, «сверхчеловек», появляющийся на излете позитивизма, или плоды «пренатальной селекции», как выразился Слотердаjk, давая голос генно-инженерным чаяниям исчерпавшего себя постмодернизма (Peter Sloterdijk, Regeln für den Menschenpark. Ein Antwortsschreiben zum Brief über den Humanismus – die Elmauer Rede. – *Die Zeit*, 16. September 1999, N 38, 21). Компенсирование стесненных обстоятельств, наступающих в сфере символического, асимметрично преодолению ее чрезмерного распространения, захватывающего *corps*

Остается только удивляться тому, что общества готовы организовывать рынок по мало пригодным для него концепциям Фридмана и Кейнеса, экономистов, преувеличивавших значение либо вещей, либо их знаковых субститутов. Впрочем, всё, что подчиняется власти (а homo socialis особенно не обходится без нее, раз он уступает свою антропологическую всезначимость ролевому пребыванию в мире), самоотжественно вопреки самопоиманию.

При вещественно-символическом обмене убыток терпит тот, кто приобретает артефакты – продукты, которые будут так или иначе потреблены. (Даже если кто-то покупает не хлеб насущный, а подвергает себя за собственные деньги piercing'у, он все равно утоляет свою нужду, скажем, быть выделенным из толпы). В социоисторическом времени обмен, действительно, удовлетворит обе стороны, если будет, по меньшей мере, удвоен, если субъект трансакции, обеспечив себя всем необходимым для телесного благополучия, затем заработав себе своим или наемным трудом символические ценности, которые нельзя потребить, которые подлежат исключительно расходыванию. Двойной обмен (работа:деньги: деньги:товары) совершается не на рынке, а между рынком и производством. Очень может быть, что рынок, как думают многие социологи, «объективирует» действителя. Дело, однако, в том, что сам рынок субъективирован во взаимодействии с продуцированием артефактов. Актант входит в объектность и выходит из неё, попадая на торжище. Рынок и производство, далее, сообща являют собой некоего сверхпартнера, участвующего в еще одном обмене, а именно в том, который связывает трудящееся коллективное тело при посредничестве держателей капитала с государством, печатающим деньги и распоряжающимся иными символическими ценностями. Там, где есть одно удвоение, найдешь и другое. Мультипликация имманентна дублированию. Обмен символов на символы меняет стоимость и самим деньгам, стоимости. Государство, пускающее в оборот денежную массу, изымает из нее для себя налоги, которые определяют, какова ее цена. Частные банки подражают государству, назначая процентную ставку на проходящие через них деньги.

В такого рода социореальности государство всегда подвержено соблазну стать медиатором в последней инстанции, что и происходит в экстремальной форме в тоталитарных режимах. Они, однако, оказались самоубийственными, поскольку там, где царит *обмен обмена*, не остается естественного свободного пространства для универсального посредника

пока люди сопротивляются автоклонированию и пока изменение нашего генофонда сводится к игровой перестройке тел в cyberspace).

интеракций: всё должно уступить всему в пермутационной череде. В конце концов даже абсолютизирующее себя в качестве социально-экономического посредника государство захватывает (насилие здесь неизбежно) это место в *воображаемом* обмене с потусторонним (откуда проистекает обожествление фараонов, связывающих собой небо и землю, или позиционирование (национально-)социалистического хозяйствования в сопровождающих его идеологиях на переходе к будущему, убегающему в постисторию).

Общество в целом может быть экономичным лишь при том условии, что совершаемое им комплексное действие будет сжимать в себе сразу несколько обменов, сберегая тем самым время в настоящем, создавая запас времени – историческое будущее.

То, что никак не потребляемо и предназначено лишь для траты, сугубо престижно. Социальное существо, которому есть, что отдать, интересно для окружающих, – обладает рангом в общественной иерархии, помимо государственной табели чинов. Эквивалентность того, что только (абсолютно) престижно, и того, что гарантирует самосохранение индивидов, заражает престижностью артефакты, которые становятся тем самым относительно значительными символическими ценностями. Стоимость престижного товара включает в себя его себестоимость плюс его символическую стоимость. Пока не нагрянет какая-нибудь социально-экономическая катастрофа, *ricing* всегда будет дороже хлеба. Но и хлеб имеет символическую стоимость, раз он попадает на рынок вместе с престижными товарами. Прибавочная стоимость не выколачивается капиталистами из пролетариата – ее творит логика многократного обмена, в котором вещи равнозначны символам.

Если экономия на энергетических вложениях в производство, в которую втянуто историческое общество, результируется в возникновении символического труда (плуто- и бюрократии), то развитие производимого совершается этим социумом в силу того, что он гонится за прибылью, имплицитруемой престижными продуктами. Устаревшие артефакты продаются почти по себестоимости или даже по бросовым ценам, и они суть цена прошлого, застрявшего в настоящем. Изготовление товара, которого еще не было на рынке, сообщает ему эксклюзивность (некую символичность), не вырывая его в то же самое время из ряда других вещей. Как раз такие товары и пользуются повышенным спросом, коль скоро они предоставляют возможность обладателям денег, чистого престижа не быть пациенсами чужого интереса, но предпринимать обмен с собой, быть деятелями во что бы то ни стало, если уж и платить, то за занятие модной позиции в об-

пчестве.⁸ Экономия модника (собственно: исторического человека) состоит в том, что переплату за приобретенное он компенсирует, замыкая обмен на себе, делая его трансцендентальным. Сюда, а не в государство упирается обмен обмена. Коротко: увлеченный модой отдает свои деньги, престижное, не кому иному, как себе. Индивиду, запасшемуся престижным товаром, можно лишь подражать (и значит: деградировать до репродуцирующего себя ритуального человека). С щеголем способен конкурировать только другой модник, с производством товаров повышенного спроса – иное, сходное с этим, экспандирующее производство. Противореча Смиту и, в общем, соглашаясь с Марксом, можно утверждать, что историю экономически подталкивает вперед совершенный эгоизм, воплощаемый петиметром и стилигой, интернализация обмена.

Под обобщающим углом зрения безразлично, из каких ресурсов черпает производство, старающееся превзойти свою наличную творческую мощь. Ими могут быть: недра Земли и мирового океана, колонки, страны дешевого и особо квалифицированного труда, в которые перемещается индустрия, или, наконец, если не дополнительные к существующим геополитические, то новые техносферы. Отвлеченный от всей этой конкретики мыслительный взгляд фиксируется лишь на том, что обмен обмена, т.е. обмен по восходящей линии, неизбежно предполагает выламывание хозяйственной системы из себя, ее экзистенциальность, поиск ею некоего места, где она могла бы начать инохозяйствование.

Имеются два пути бегства из социоисторической экономики – в Эрос (становящийся танатологичным) и в Танатос (эротизируемый). Ее усиление и отмена таковой: любовь и революция.

Взаимная любовь есть обретение престижного объекта, за который обоим партнерам не нужно платить деньгами. Любовь – обмен престижными позициями (например, взаимоотношение представителей двух уважаемых обществом кланов, которые в шекспировской трагедии о Ромео и Джульетте пребывают в состоянии вражды, т.е. негативного обмена). Влюбленные уступают друг другу престижные тела, не вмещивая в эту операцию рынок. В итоге они экономят на том, что выносят государство, источник денег, за скобки своего расчета. Любовь – личностная политика, направленная против капитализма (в широком понимании) и его alter ego – государства. В любовных отношениях символическое неотрывно от телесного, что противоречит отделению плуто- и бюрократии от *corps social*. Фиксация только на одном эротическом партнере предусматривает, что не нужно

⁸ О моде и истории см. особенно: Гройс, Б.: *Дневник философа*, Париж 1989, 16 сл.

тратить себя на другие либидинозные объекты. Социоистория интенсифицируется тогда, когда воплощается и сокращается в связи только двух тел, конкурирующих с самой конкуренцией, с конфликтом, разыгрываемым между разными престижными продуктами промышленности и сельского хозяйства.⁹ Любовь с ее экономичностью исторична, как и капитализм. Но она и микрореволюция (двух индивидов), противостоящая капитализму социоистории, борющаяся с ее монетарностью.

Зомбарт (Sombart, W.: *Luxus und Kapitalismus*, München, Leipzig 1913, 45-69), одним из первых взявшийся за социологическое разрешение проблемы любви, усмотрел в ней стимул к превращению богатства в (понятый исследователем в только финансовом плане) капитал (весьма поздно внедрившиеся в европейский обиход куртизанки повышали расходы мужчин и, соответственно, способствовали их заинтересованности в дополнительных доходах). Как быть с дупанарами? Почему не они двинули экономику по пути поступательного движения? Продолживший Зомбарта Луманн также был озабочен тем, чтобы представить любовь в виде исторического (стадиально преобразующегося и поздно наступившего) явления (Luhmann, N.: *Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität* (1982), Frankfurt am Main 1994). Но если отсчитывать генезис капитализма от становления государства, то феномен любви следует состарить. Я дам возможность читателям посмеяться над автором: она вечна. Как нарушение брачных запретов она известна и раннему (слабо институционализованному) обществу. Там, однако, она выступает как *hybris*, как избыточный, экстраординарный элемент социальной жизни, подлежащий устранению из нее (что наблюдал Малиновский: Malinowski, B.: *Crime and Custom in Savage Society* (1926), Totowa, New Jersey 1985, 60 ff). В социоистории же любовное отношение легитимируется по принципу отрицания прошлого – как не признававшееся начальными обществами. Вместе с тем оно, будучи способом противостояния лично выбранной овнешненной двутелесности коллективному телу, конечно, как финитно всё индивидуальное. Нужно воздать должное Луманну, писавшему о том, что любовь прекращаема-в-себе и должна быть „durch gemässigttere Formen der wechselseitigen Verhaltensanpassung ersetzt“ (ibid., 46). Впрочем, в отличие от Гете, автора *Страданий молодого Вертера*, Луманн не заметил, что любящий не только готов стать конформистом, но и – в своей микрореволюции – охвачен суицидным комплексом. Говоря так,

⁹ По этому принципу иногда устраиваются и целые элитарные группы – ср. хотя бы некоммерческий социум куртуазной любви – см. подробно: Мейлах, М.Б.: К вопросу о структуре «куртуазного универсума» трубадуров, в: *Труды по знаковым системам*, VI, Тарту 1973, 244 сл.

я социологически переиначиваю тезис Жоржа Батая и Сабрины Шпильрейн о выходе Эроса за свои пределы – в область Танатоса.

Революция всего коллективного тела, восстающего против власти институций, не экономит, в отличие от любви, на обмене символов на артефакты, но разрушает его. Революция зачастую начинается как протест против налогообложения, против мзды, которую народ и его представители отдают символическому телу – институций (я имею в виду не только то, что возмущение из-за таможенных поборов привело к отпадению Соединенных Штатов Америки от Англии, или то, что недовольство нации сохранившимися с феодальных времен налогами сыграло значительную роль в Великой французской революции, как это показал Алексис де Токвиль; восстание против церкви, совершенное, например, древнерусскими «стригольниками», также обусловило себя нежеланием прихожан мириться с симонией, данью, которой был обложен клир, – с поставлением священников в сан за плату).¹⁰ В революции вещь бунтует против символа, заступая его позицию.¹¹ Затеваемые революционным режимом экспроприации обогащают его вещами. Недостача предметов первой необходимости (хлеба, как это было в России в феврале 1917 г.) вызывает распад государства, владевшего «символическим капиталом». Коллективное тело, намеревающееся смести со своего пути правящую элиту, слишком физично, недостаточно текстуально, что оно возмещает сторицей. Переход от физической нехватки к обладанию максимумом собственности есть действие, в своем итоге ведущее субъекта к занятию престижного места. Чем больше вещей находится в обладании собственника, тем менее они ему нужны, тем тяжелее их символический вес. Текстотело революционной массы является таковым и из испытываемой ею нехватки материальности, и из избытка таковой. Речь идет о всплывающих низового гнева. Террор снизу гасится террором сверху, со стороны тех, кто захватил бразды правления. Символическое тело народного эксперимента узурпируется избранныками революции. Выделенные из социума символические тела возвращают себе (в удвоении обмена) утраченные позиции. Изъятие вещей из владения их собственников (включая сюда и освобождение Северной Америки из-под налогового бремени) разрушительно, их присвоение участниками революционного действия эротично. Экспроприрующие богатство попадают в абсолютно престижное положение, и они жаждут вызывать максимальный

¹⁰ Это еретическое движение было религиозной параллелью к народным протестам против татарских сборщиков податей.

¹¹ Торо был тем революционным мыслителем, который соположил недовольство человека, прозябающего как вещь, своим состоянием и его стремление освободиться от ярма налогообложения (Thoreau, H. D.: *Civil Disobedience*, 1849).

интерес к себе – быть вселенским целеобъектом эротического влечения. С их точки зрения мир обязан любить национальные революции. В Эросе-через-Танатос всё общество находит себя, помимо государства, отличаясь тем самым от любовных микрореволюций, отражающих воление индивидов. Но когда не остается непрестижных вещей, символическими должны стать их владельцы. Революция выдвигает из себя свою элиту, распорядителей символического капитала, нажитого на народном эксперименте, похитителей текстотелесного действия.

Экономический кризис – зеркало революций. Он случается, когда абсолютных символических ценностей меньше или больше, чем относительных символов, когда народонаселению не хватает денег, чтобы отовариться всем, что предлагает рынок (= кризис перепроизводства), или, напротив, когда, скажем, только немногие фирмы заслуживают того, чтобы покупать их акции на бирже, что влечет за собой необоснованно высокую оценку отдельных капиталов (= кризис переоценки;¹² виноватым в ней бывает, разумеется, и государство, влезаящее в непомерные долги – взвинчивающее свою стоимость). В ситуациях перепроизводства и переоценки, в противоположность революционным, символы (в их дефиците либо в их избытке) нарушают функционирование мира вещей, оказываются неэквивалентными этой реальности. Экономическую историю ввергает в депрессию неуравновешенность (съжившегося или раздувшегося) символообразования с товарным производством.

Ульрих Бек назвал современный социальный мир, хищнически истощающий природу, впадающий в противоречие между погоней за выгодой и объемом имущественного владения, подтачивающий материальную базу, без которой не создаются вещи, «обществом риска». Оно пребывает в перманентном кризисе. В этом «катастрофическом обществе» идеал равенства, бывший релевантным ранее, сменяется идеалом надежности, который вынашивает социальная интуиция, ощущающая шаткое положение дел.¹³ От роста риска в безусловном выигрыше остаются медиа, тем

¹² Для Стэнли Джевонса в кризисе переоценки фокусируется миметическая природа людей, подражающих друг другу при капиталовложениях (Jevons, W. S.: *Political Economy*, London 1910 – цит. по: *Wirtschaftskrisen*, hrsg. von K. Diehl, P. Mombert, Frankfurt am Main e. a. 1979, 204).

¹³ Beck, U.: *Risikogesellschaft. Auf dem Wege in eine andere Moderne*, Frankfurt am Main 1986, 65. Стоит добавить к этому наблюдению, что те современные войны (в Ираке, Сербии, Афганистане), которые ведут США, рассчитаны на минимальные потери нападающей стороны. При всепоглощающем стремлении общества к надежности война перестает быть информативной, не является более событием с неведомой развязкой, выигрывается заранее тем протагонистом, который безмерно силен. Мы живем в эпоху неджентельменских конфликтов.

сильнее покоряющие внимание общества, чем больше информации (катастрофических сообщений) они ему поставляют.¹⁴ Обществу, очутившемуся на грани своих возможностей, не до революций.¹⁵ Подхватчу и несколько перетолкую диагноз Бека: социоэкономический кризис выражается отнюдь не только в биржевых крахах, спаде производства, увеличений числа безработных и т. п., но, главным образом, в том, что «символический порядок» (культура-цивилизация) становится ныне самодовлеющим, нацеленным на сбережение природных ресурсов в условиях их нехватки. Обособление естественного и искусственного (превращение первого в заповедную зону и замыкание второго в дигитальной среде) угрожает самому принципу обмена, на котором пока держалась социальная жизнь.

Именно мультиплицированность обмена делает подчиненный ему социум ирреверсильным (в какие бы революционные и кризисные положения он до сего дня ни попадал), не откатывающимся при даже резких изменениях вспять, в ту первобытность, где обмен однократен, воистину примитивен (хотя бы она и становилась реминисцентным содержанием общественно-экономических потрясений). Как деньги, так и престижные артефакты глубоко архаичны. Но только если и обмен обменян, деньги становятся покупаемыми-продаваемыми, и престижные товары вытесняют друг друга с прилавков. Простой обмен вещей на символы обратим, отчего ни то, ни другое в архаическом обществе не может быть пущено в рост. Многократный обмен добирается даже до лиц, осуществляющих его. Обобщаю: он есть сложная интеракция, разыгрываемая между людьми-символами и людьми-вещами (а не между только производителями и потребителями, как считала классическая политэкономия в лице Сисмонди: J.C.B. Simonde de Sismondi, *Etudes sur les sciences sociales*, 1837).

Революции и экономические кризисы не отъемлемы от социистории из-за того, что генерируемые по мере ее разворачивания артефакты неполноценны – в том смысле, что у модного продукта не бывает абсолютной цены. У исторического человека нет стратегии, которая гарантировала бы ему стопроцентный успех (в иной перспективе о том же писал Джон Дьюи в *The Quest for Certainty*, 1929). Завершив транзакцию, индивид, попавший в историю, не может быть уверен в том, что он и впрямь стал собственником: ведь новая мода собьет цену на то, что он уже имеет.¹⁶ И революции, и

¹⁴ Ibid., 61-62.

¹⁵ Ibid., 105.

¹⁶ В радикальной философии политэкономических кризисов О'Коннора они имманентны капиталу в той мере, в какой тот в своей экспансии несамостоятелен, са-

экономические кризисы учиняют несобственники – те, кому недостает вещей, и те, кто не считается с тем, что у денег должен быть вещественный эквивалент.

Заманчивой целью для *ratio* всегда было моделирование такой экономической истории, которой не знакомы ни революции, ни кризисы. У мыслителей XX в. жажда решить эту задачу приняла обсессивный характер и потеряла утопический оттенок.

Одним из первых в данном ряду следует назвать С.Н. Булгакова. В своей *Философии хозяйства* (1912) он придал производству черты мимезиса: человек экономит на том, что созидает по образцу Дембурга, не изобретая ничего самостоятельно. Тварь, притязанная на неслышанное творчество, тоже миметична – подражая Сатане. В этой модели капиталист обожен и заодно выступает как тот художник, которого Платон в «*Политейе*» не мог принять из-за того, что имитатор не движет историю к ее завершению.

Идеи Булгакова сводятся к тому, чтобы сохранить экономичность на входе действий исторического человека, упразднив при этом расширение их продуктивности (их развитие). Тем же намерением закрыть *output* истории, что и Булгаков, руководствовались в XX в. многие иные властители умов.

«Энергетические представления» Фрейда не оставались одними и теми же по ходу становления психоанализа,¹⁷ однако в их центре постоянно находился вопрос о бережливости психики в процессе ее работы с внешней действительностью. В *Das Unbehagen in der Kultur* (1930) Фрейд писал о том, что «примитивное «я»» формируется, отделяясь от окружающей среды, дабы ничто не мешало реализации «принципа наслаждения». Стремление «я» удовлетворить либидо не всегда, однако, воплотимо в жизнь, откуда индивид, с одной стороны, экономично не выпускает наружу энергию всех своих аффектов (вплоть до того, что принимает на себя аскезу), а с другой, – столь же экономично высвобождает подавленные душевные силы, ломая табу: „Die Unwiderstehlichkeit perverser Impulse [...] findet hierin eine ökonomische Erklärung“.¹⁸ Пожертвование отприродными влечениями спланирует индивидов в культурогенном социуме, в котором происходит дальнейшая минимализация психических затрат, что компенсируется его членами не иначе, как экономично: посредством сублимирования энергии

моогчуждаем. Потеря внутреннего равновесия одинаково свойственна, по О'Коннору, и трансцендентальному субъекту, и саморазвивающемуся (капиталистическому) производству (О'Коннор, J.: *The Meaning of Crisis. A Theoretical Introduction*, Oxford, UK, New York 1987, 158 ff).

¹⁷ См. подробно: Laplanche, J. / Pontalis, J.-B.: *Das Vokabular der Psychoanalyse* (= *Vocabulaire de la Psychanalyse*, 1967), übers. von E. Moersch, Frankfurt am Main 1973, 357-361.

¹⁸ Freud, F.: *Das Unbewußte*. Schriften zur Psychoanalyse, Frankfurt am Main 1960, 355.

Trieb'ов, вкладываемой в чисто символические (дискурсивные) практики. Чем жестче социальные ограничения (задаваемые запретом incesta), тем неприятнее чувствует себя человек в культуре, тем взрывоопаснее подавленные аффекты, выплескивающиеся в деструктивных действиях (войнах и т.д.). Впрочем, Фрейд не сомневается в том, что эти издержки культуры могут быть устранены из «либидинозного хозяйства» при том условии, что либидо будет сбалансированно распределено между «я» и миром объектов.

Как ясно из пересказа, для позднего Фрейда в филогенезе нет ничего иного, кроме экономии, и там, где приходится признать, что она терпит крах, в психоанализе возникает то, что по-немецки называется Wunschgedanke. Разница между мыслительными ходами Булгакова и Фрейда очевидна: первый не разрешает человеку трансцендироваться в сферу подлинно нового – в заповедник Демиурга; второй, напротив, настаивает на том, что новое люди обретают в имманентном им – в организации их психики. И религиозный, и психоаналитический (сциентистский в широком смысле слова «наука») дискурсы разворачиваются экономично, редуцируя человека только до той его ипостаси, которая релевантна для данного типа речи. История без потрясений – не столько плод утопической мечтательности, сколько проекция на фактический мир того или иного дискурса – тех или иных упорядочивающих и ограничивающих смысл правил речепорождения. В той мере, в какой постмодернизму хотелось бы (как и прочим культурам) увековечить себя, сэкономив на грядущей неизвестности, он усложняет либо модель булгаковского типа, либо фрейдизм.

В книге «О новом» (*Über das Neue. Versuch einer Kulturökonomie*, München, Wien 1992) Борис Гройс секуляризовал «Философию хозяйства» (я говорю об объективной сравнимости этих сочинений; вопрос о том, составляют ли они интертекст, не имеет значения для дальнейших соображений). История культуры, по Гройсу, всегда экономична по причине того, что она не столько протекает от бывшего к небывалому, сколько меняет местами уже присутствующие в ней полюса профанного и сакрального (каковое сосредоточено в «валоризованной» коллективной памяти). Новатор, возвышает ли он низкое, или низвергает кумиры, замкнут пределами только человеческого творчества. Конструируя эту «логику экономии», Гройс усложняет булгаковские представления за счет переноса того, что было в них трансцендентным (демиургическим), в зону имманентного человеку. Продолжая когда-то начатую сакрализацию/профаннизацию в обратном порядке, человек подражает самому себе.

Наиболее яркое (богатое идеями) осовременивание энергетической теории Фрейда – эротополитэкономический трактат Лиотара (Lyotard, J-F.: *Économie libidinale*, Paris 1974). Либидо в концепции Лиотара экономично,

не будучи чем-то, дизъюнктивно конфронтирующим с Todestrieb'ом. В этом пункте Лиотар отчасти расходится с Фрейдом и подхватывает (смягчая) традицию, тянущуюся от Батая (в частности, от его предисловия к «Мадам Эдварде», где провозглашается, что к любви не приложимо никакое иное имя, кроме «смерти»). Todestrieb удерживает либидо – так нужно понимать Лиотара – от чрезмерной прокреативности и обуславливает разнообразные телесные политики, в которых неизрасходованный, аккумулированный Эрос бросается на поиски расширенной реализации (принципиально произвольной). Канонизируемые культурами эротические практики соответствуют неодинаковым формам ведения хозяйства. Так, общества, в которых преобладает интерес к торговле, придающей ценам текучесть, обнаруживают параллель к таким эротическим забавам, в которых у тела партнера нет predeterminedности, в которых половые запреты отменены, и анус эквивалентен вагине. Coitus reservatus таоизма, рекомендовавшего отсрочку семеизвержения (ради того, чтобы умножить ожидания мужчины и женщины) сопоставляется Лиотаром с современной экономикой, жаждающей на заемах, на обещаниях выплатить кредит.¹⁹ Меркантилизм XVIII в., нацеленный на накопление государственного золотого запаса и завоевание новых рынков сбыта для национального продукта, оказывается в «Либидинозной экономике» аналогичным мультиплицированию жертв, которыми избытует эротическая фантазия де Сада. И либидинозные тела, и сопряженные с ними порядки хозяйствования способны у Лиотара интенсифицировать отдачу. Тем не менее вся эта система, в которой нет различия между эротическим человеком и владельцем капитала, принципиально, по выражению Лиотара, тавтологична, завершена в себе, не умеет себя превозмочь, не вовлечена, скажу я, в фазовый (что значит: радикальный) исторический процесс, лишь вариативна, раз участвующие в непрокреативном половом акте не могут заместить свои тела новыми. (Знаменательно, что Лиотар отказывается дифференцировать «примитивную» и капиталистическую экономики).

Если Гройс перевел булгаковское трансцендентное в имманентное культуре, то Лиотар трансцендировал выисканную Фрейдом во внутреннем мире индивидов либидинозную экономию, возложив на нее ответственность за интенсификацию как полового, так и трудового действия, и в то же время – в парадоксальной манере – постаравшись доказать, что эти переходы через край не инобытийны нам (не историчны). Вот что не за-

¹⁹ Что сказал бы по этому поводу Мао, придерживавшийся в личной жизни, как засвидетельствовал его врач, таоистских половых обычаев, но вместе с тем потративший немало усилий на то, чтобы сделать китайскую экономику никак не зависящей от внешних долгов?

мечает постмодернизм: он обедняет output истории, будучи сам в качестве ее следствия гораздо богаче (сложнее), чем то, что ему предшествовало.

Нежелание быть-в-истории свойственно всему XX в., но оно никогда не было столь ощутимым, как в постмодернизме. Закупоривая output истории, но не ставя под сомнение собственную продуктивность, постмодернизм не считается с тем, что обмен обменен и, следовательно, распахнут в будущее, в новые фазы обмена²⁰.

Дарение в качестве акта, создающего мнимое будущее – вот одна из тем постмодернистской философии, для которой история как *amplificatio* исчерпала себя. В «Donner le temps I» (Paris 1991) Деррида, отсылая к новелле Бодлера «La fausse monnaie», в которой рассказывается о подбрасывании нищему, возможно, фальшивой монеты, выводит экономичность дарения из того, что оно не являет собой подлинной отдачи собственности. И вообще: предмет дарения – симулякрум, т.к. оно конструирует время-кредит, длительность не жизни, но ожидания, в котором пребывает тот, кто рассчитывает на то, что ему будет возмещено отданное. Во что бы то ни стало не касаться смерти – вот удел человека в представлении Деррида. Даритель не жертвует собственностью, он отодвигает от себя свою конечность, свою смерть, воистину неподдельное. В «Фальшивой монете» Бодлер, по интерпретации Деррида, тематизирует самое рождение литературы, отличающейся от экономики (она отождествлена в «Donner le temps I» с домоводством), но и служащей ей как всего лишь симулякрум жертвоприношения.

С легкой руки Деррида и других парадоксалистов философствующего постмодернизма понимание словесного искусства в качестве другого экономики распространилось и на литературоведение наших дней. Так, А. Ассманн усматривает особенность литературных текстов в том, что они не исключают из своего внимания отбросы, не обладающие потребительской стоимостью, и формируют таким способом противопамять культуры.²¹ Спору нет: литературу всегда привлекал к себе мусор. Но разве индустрия и сельское хозяйство не заняты его утилизацией вместе с ней?

Между тем литература, как кажется, вовсе не противоречит политэкономии, обрученной с социоисторией. Там, где символическое и вещественное обменны, только символического (как и только вещественного) не может быть. Эстетический дискурс подобен капиталу. Смысл растет на вы-

²⁰ О постмодернистских политэкономических доктринах см. подробно: Gernalzick, N.: *Gegen eine Metaphysik der Arbeit: Der Ökonomiebegriff der Dekonstruktion und Poststrukturalismus* (ms).

²¹ Assmann, A.: *Erinnerungsräume. Metaphern, Medien und Metamorphosen des kulturellen Gedächtnisses*, München 1999, 94 ff.

ходе художественного текста, кто бы ни привносил сюда свой вклад – средневековые ли переписчики рукописей, ревизующие оригиналы, или критики и интерпретаторы литературы, без найма работающие на капиталистов-писателей. На входе художественного текста его автор минимализует свои энергетические затраты, перерабатывая претексты, реаранжируя их значения, работая в рамках жанра – по экономящему мыслительные издержки мерилу. Сами производственные расходы литературного труда обусловлены тем, что он не совершается без запроса со стороны референтной среды (= без социального заказа) или без апелляции к ней (= без тенденциозного вмешательства писателя в жизнь). *Arg combinatoria* преодолевает неизбежную референтность (избыточность, ненужность) текста.

Чем более продвинут поступательный ход истории, тем выше число лиц, посвящающих себя обогащению литературного смысла (в школьном и университетском преподавании, на телевидении, в Интернете и т. п.), и тем сильнее (экономичнее) компрессия, которой писатель подвергает становящуюся всё сложнее и объемнее традицию.²² Ингольд сравнил современного и будущего писателя с менеджером.²³ Но не был ли во все времена создатель художественных продуктов распорядителем доставшегося ему в наследство жанрового хозяйства, которому он устраивает дальнейший сбыт? Хотя писатель в роли собственника своих сочинений стал субъектом европейского права весьма поздно, лишь в XVIII в.,²⁴ сам литературный текст всегда был чреват авторством в той мере, в какой он пользуется жанровым кредитом, дабы вернуть в социальную коммуникацию взятое в долг умноженным. Пусть даже фактический творец литературного сочинения остается неизвестным, оно в некотором роде более, чем собственность, ибо оно и принадлежит всему обществу как элемент его дискурсивной традиции (как *res communes*), и вместе с тем, будучи реаранжировкой, накоплением таковой, не доступно потребителям непосредственно (в их опоре на прежний опыт), достается им только через *оценку* воспринимаемого, посредством *дифференцирования* рецепции и текста, продажной стоимости и себестоимости товара. Не в этом ли заключена и суть промышленно-финансового капитала, приобретающего социум владению порождаемыми им артефактами путем их продажи, вырабатывающего сложную коллективно-индивидуальную собственность?

²² Ср. главу «Миры литературы» в: Гудков, Л. / Дубин, Б.: *Литература как социальный институт*. Статьи по социологии литературы, Москва 1994, 167 сл.

²³ Ingold, F. Ph.: *Autorschaft und Management*, Graz, Wien 1993.

²⁴ См. подробно, например: Bosse, H.: *Autorschaft ist Werkherrschaft*. Über die Entstehung des Urheberrechts aus dem Geist der Goethezeit. Paderborn e.a. 1981, 17 ff.

Эстетический дискурс подобен капиталу? Или же в этом сравнении нужно сдвинуть местами термы? Не подражает ли капиталист производительно эстетических ценностей? Возможен ли ответ на эти вопросы в социально-экономическом универсуме, в котором господствует обмен обмена?

Как бы то ни было, в социальную функцию литературы входит задача интенсифицировать конкуренцию, царящую на денежно-вещном рынке, учинить соревнование с соревнованием, с модой. Так называемое двойное кодирование, свойственное литературе, т. е. осуществляемое ею, говоря по-гегелевски, снятие противоположности значений, гасит конкуренцию внутри текста, сверхэкономично выводя его и из рыночного обращения.²⁵ *Aemulatio* достигается словесным искусством благодаря тому, что его восприятие (покупка) еще вовсе не означает полного перехода текста в собственность реципиента. У амбивалентного не бывает окончательной договорной цены. Художественный текст и продан, и непродан. Он имеет стоимость здесь и сейчас, в момент потребления, но не равен ей, коль скоро не только писатель выбрасывает на рынок продукт с неустойчивой ценой, но и у читателя, по определению, нет эквивалента для замещения эстетического (вдвойне ценного) товара. Читатель, говоря в простодушии, не писатель. Деньги с их однозначным курсом, которыми измеряется приобретенная книга, ненадежный ее эквивалент. Действительно равнозначной ей могла бы быть лишь другая книга. Литература и аналогична капиталу, и бросает вызов ему. Кроме того, что она социальна, она еще и антропологична. В своей мифопоэтичности она не противопоставляет глубокую древность текущему моменту. Если она остраивает, то ни что иное, как самое социальность, давая видеть ее всякому из тех, кто принадлежит роду человеческому. В эстетическом поле могла бы сложиться сверхэкономика, всечеловеческое хозяйство, если бы искусство не было игрой воображения. Капитал побеждается в фантазии. Но он делает отсюда практические выводы.

Ввиду неопределенности цены литературное произведение как нельзя точнее соответствует истории с ее неясным будущим. Чем значительней отрезок, пройденный историей, чем больше своих возможностей она реализовала, чем менее, следовательно, предсказуемо то, чему еще предстоит произойти, тем выше цена когда-то изготовленного эстетического продукта. Сказанное относится ко всякой литературе, даже и тривиальной, составляющей как-никак предмет интереса для науки, которая старается

²⁵ Ср. глубоко захватывающую проблему соображения о политэкономической подоплеке понятия «*Aufhebung*»: Shell, M.: *Money, Language, and Thought. Literary and Philosophical Economics from the Medieval to the Modern Era*, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press 1982, 142 ff.

выяснить, почему и несовершенное находит себе сбыт. Возгонка цен на эстетическое особенно заметна в случае живописи. Пылливому уму следует, однако, сосредоточиться не на этой рыночной очевидности, а на другом: на выкристаллизовавшемся в XX в. признании финансово-промышленным капиталом своего поражения в конкуренции с художественным, на эстетизации политэкономического развития общества; на его переходе в тоталитарной фазе его истории к эстетизации государства (Беньямин),²⁶ в посттоталитаризме – к строящейся по образцу художественных текстов рекламе, в зависимость от которой попало производство; в современности – к работе в кибернетическом пространстве (cyberspace) – в поле, где царит крайне сомнительная надежда на то, что товарно-символический обмен можно подчинить сугубо символическому (электронному). Капитал опрокидывает эстетику в реальность. Глобализуя, денационализируя экономику, он намеревается стать антропологическим хозяйством.

Искусство нешуточно, как сказал бы Пастернак. Оно апокалипгично не потому, что показывает нам в своей погоне за совершенством конечное состояние вещей (так думал Вл. Соловьев в «Общем смысле искусства», 1890), и не потому, что исчерпывает реальность в финале текста соотноенного с ней (в чем обвинял литературу Кермоуд²⁷), но по той причине, что побеждает (не только в «мозговой игре»), соревнуясь с соревнованием, конкуренцию престижных артефактов, разность, различаемость вещей, дарованную нам модой. По своему социальному назначению художественный текст энтропиен.

²⁶ Benjamin, W.: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, in: *Illuminationen*. Ausgewählte Schriften, Frankfurt am Main 1965, 148 ff. К эстетической политике тоталитаризма ср. особенно: Groys, B.: *Gesamtkunstwerk Stalin*. Die gespaltene Kultur in der Sowjetunion, übers. von G. Leupold, München 1988.

²⁷ Kermode, F.: *The Sense of an Ending*. Studies in the Theory of Fiction, New York 1967.